

О встречах с нобелевскими лауреатами

<http://oralhistory.ru/talks/orh-217-218>

🎙 28 сентября 1971

Собеседник

Ребиндер Петр Александрович

Ведущий

Дувакин Виктор Дмитриевич

Дата записи

Беседа записана 28 сентября 1971 и опубликована 4 октября 2017.

Введение

В третьей беседе Петр Ребиндер рассказывает о выдающихся иностранных и отечественных ученых, с которыми ему довелось познакомиться на Лазаревских коллоквиумах и во время празднования юбилеев Академии наук. Среди них — лауреаты Нобелевской премии Жан Батист Перрен, Теодор Сведберг и Ирвинг Ленгмюр. Эта часть записи по сдержанности повествования близка первым двум встречам. Однако, во второй части беседы Ребиндер высказывает свое мнение о смысле и форме деятельности Дувакина, говорит о собственном впечатлении об упорстве и энергии при организации их встречи. Начавшаяся полемика раззадорила визави Дувакина и оживила последовавший рассказ о литературных знакомствах и вкусах.

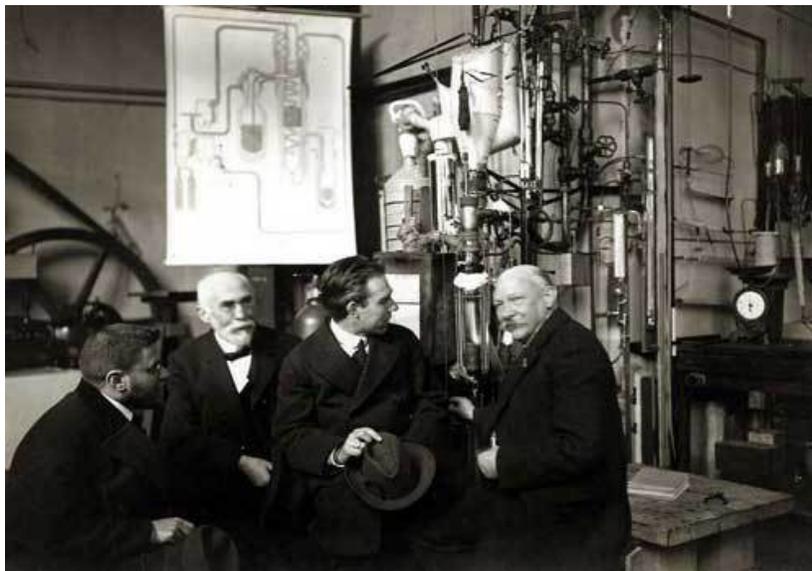
Лазаревские коллоквиумы

Виктор Дмитриевич Дувакин: Пожалуйста, Петр Александрович.

Петр Александрович Ребиндер: Особенный интерес всегда представляют встречи со знаменитыми людьми. Для меня это прежде всего люди науки, люди, которых уже нет с нами и о которых остаются только воспоминания. Такие незабываемые впечатления оставались от тех, кто участвовал своими докладами в Лазаревских коллоквиумах. Эти коллоквиумы, как я уже говорил, происходили в 20-е и 30-е годы (пожалуй, лучше сказать, в 20-е годы, так как их существование закончилось в 30-м и 31-м году) каждую субботу. Ровно в три часа в субботу они начинались, и всегда на них председательствовал сам директор Института физики и биологической физики академик Петр Петрович Лазарев. В редких случаях, когда он был болен, кто-нибудь из руководителей лаборатории института проводил этот коллоквиум. Участие в этих коллоквиумах было как-то по неписанному закону обязательным для всех. Все с удовольствием, с большой радостью приходили в субботу в библиотеку института, где проходило заседание, собирались за большим столом или около него, около доски, которой пользовался докладчик. Докладчиками на этих коллоквиумах были самые знаменитые русские физики, биологи, биофизики, геофизики, химики, представители самых различных специальностей из области естественных наук; выдающиеся иностранные ученые, которые тогда, хоть и не очень часто, но посещали нашу страну. Я хотел бы заметить, что теперь они приезжают к нам чаще, но тогда приезжавшие были всегда знамениты, о чем сейчас говорить, к сожалению, не приходится, во всяком случае, в такой степени.

Достаточно сказать, что из иностранцев, выступавших с докладами, мне памятен Лоренц, знаменитый предшественник Эйнштейна, творец специального принципа относительности или его механических основ, Кроулей. Оба голландца. Кроулей* — ближайший соратник знаменитого Камерлинг-Оннеса, человек, который вместе с Камерлинг-Оннесом в Лейденской криогенной лаборатории впервые получил с помощью охлажденного гелия температуры, совсем близкие к абсолютному нулю. Прингсгейм, работавший в той же области, что и Сергей Иванович Вавилов (в области физики люминесценции, физической оптики, люминесцентного холодного света) тоже выступал здесь с докладами. И наши звезды, такие, как блестящий физик-теоретик Леонид Исаакович Мандельштам, часто выступали на коллоквиуме.

* Произносит Кроулей, но вероятно говорит о Виллеме Хендрике Кеезومه (Willem Hendrik Keesom).



Пауль Эренфест, Хендрик Лоренц, Нильс Бор и Хейке Камерлинг-Оннес в Криогенной лаборатории. Лейден, 1919. Источник фото: www.wikimedia.org

Выступали и такие люди, как профессор Кравков, знаменитый физиолог из Ленинграда, как академик Иоффе и тогда еще молодой Капица. Выступал профессор Московского университета, физикохимик

Раковский, который поразил всех своим блестящим, хотя и чисто обзорным изложением методов определения атомных весов. С дотошной пунктуальностью он рассказывал, с исключительным красноречием, о самых интересных и в то время очень тонких деталях этих методов, и каждый его доклад был иллюстрирован им же сделанными художественными плакатами, на которых были изображены установки, приборы, служившие для измерения атомных весов. К сожалению, Адам Владиславович Раковский умер очень рано, в сравнительно молодом возрасте, в 1940* году.

* Раковский умер в 1941 году.

Выступали на этом коллоквиуме Яков Ильич Френкель, знаменитый физик-теоретик из школы Иоффе, академик Папалекси, крупнейший специалист по распространению электромагнитного излучения, радиоволн.

И одна замечательная черта этого коллоквиума не может не быть отмеченной — это развитие красноречия тогдашних сравнительно молодых ученых, но уже пользовавшихся даже в то время известностью в науке и в некоторой степени мировой известностью. Я назову только два имени — это Сергей Иванович Вавилов и Александр Наумович Фрумкин, ныне здравствующий академик.

В.Д.: О Вавилове, как он учился, вы говорили.

П.Р.: Да. Оба они в то время говорили очень скверно, их трудно было слушать, их доклады казались, особенно для не специалистов, скучными. Но в дальнейшем, на протяжении короткого срока, они, без преувеличения, оба сделались буквально Демосфенами, красноречивцами сделались. И сейчас вот академик Фрумкин является одним из самых блестящих лекторов, докладчиков физикохимиков.

Иностранные ученые на 200-летию Академии наук

Встречи с иностранными учеными множились и после того, как этот коллоквиум прекратил свою работу. Я упомяну только о некоторых, пожалуй, самых любопытных.

Первая встреча с большим числом знаменитостей — это празднование 200-летия Академии наук СССР. Именно с этого момента она стала Академией наук Советского Союза, до этого она называлась Российской Академия наук. Президентом Академии наук тогда был Карпинский, замечательный геолог, обаятельный старик, маленького роста, очень приятный собеседник, чарующий своей скромностью и простотой. Он был президентом Академии наук еще в последние годы царского правительства* и затем остался президентом до своей смерти в 1936 году. Значит, еще в течение десяти лет он президентствовал после празднования 200-летия. Эти торжества происходили и в Москве, и в Ленинграде. В них особо горячее участие принимал академик Александр Евгеньевич Ферсман, тогда уже ставший знаменитым благодаря своим минералого-геологическим открытиям, благодаря открытию целых геологических областей полезных ископаемых на неизученных совершенно белых пятнах нашей страны.

* Карпинский стал первым выборным президентом Российской Академии наук в мае 1917 года.

В.Д.: Петр Александрович, может вы немного передохнете? У вас очень усталый голос.

П.Р.: Нет. Очень приятно вспомнить, с каким увлечением Ферсман рассказал иностранцам и о таких старинных геологических зонах, как Урал (к тому времени уже давно и хорошо изученных заповедниках минералогии), и таких совершенно новых сокровищницах, как открытые им Хибины, Кольский полуостров.

Очень большую роль в этих торжествах играл вице-президент Академии наук, знаменитый математик Стеклов, умерший тоже сравнительно молодым; и неприменный секретарь Академии, как тогда именовалась эта должность, академик Ольденбург.

Особенно памяты встречи с самыми выдающимися итальянскими математиками, такими, как Вольтерра, знаменитый творец теории наследственных изменений интегральных уравнений теоретической физики

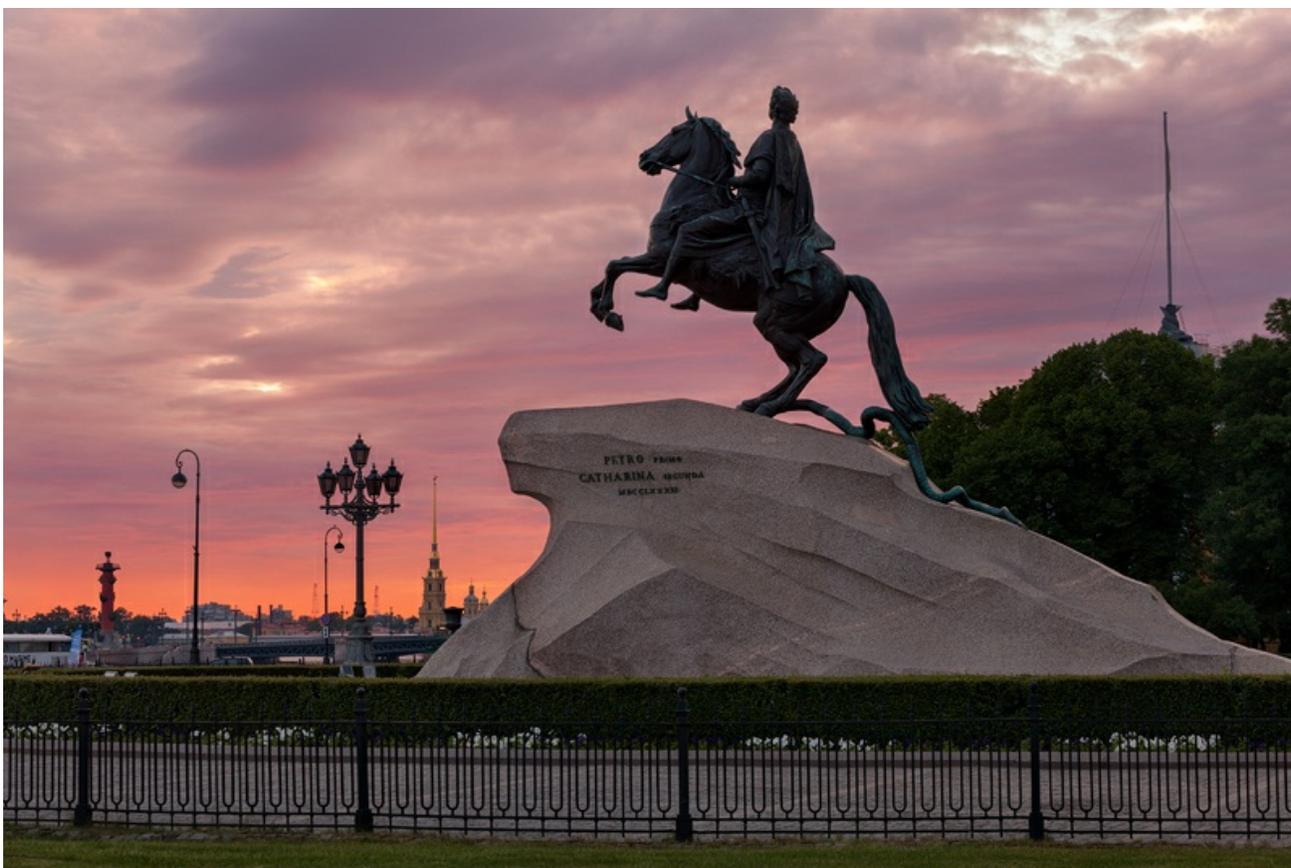
и механики, как Фубини и Фано — итальянские математики. Ну, и очень много французских физиков и математиков, немецких физиков во главе с творцом современной теории квантов и термодинамики Максом Планком.

Позвольте напомнить вам, что сейчас знаменитые институты физико-химические, которые раньше назывались институтами имени кайзера Вильгельма, называются в Западном Берлине институтами имени Планка. Его имя пользуется одинаковым уважением во всем мире, в равной степени его памятники украшают города Германской Демократической республики и Западной Германии. Не все знают, что первые работы, его прославившие, хотя и в меньшей степени, чем теория квантов, относятся к классической термодинамике, где имя его также стало бессмертным.

Мне пришлось преимущественно иметь дело с французскими и итальянскими учеными. Я свободно говорю по-французски, как по-русски, с детства, и поэтому меня, тогда молодого ученого, пригласили в качестве гида, в качестве спутника для иностранцев, говоривших по-французски. Все итальянцы говорили по-французски. Мне было приятно, что они все говорили хуже, чем я. Они обычно не заботятся об акценте, о произношении, но говорят свободно, поэтому мне легко было с ними объясняться и помогать. Надо сказать, что Вольтерра, Фубини и Фано, несмотря на то, что они были уже весьма немолодыми людьми, отличались, как и приличествует итальянцам, большой живостью. Они с огромным интересом знакомились с нашей страной, ее особенностями и, главным образом, с ее сокровищами. Тут прежде всего нужно сказать об Эрмитаже, о других картинных галереях, о памятниках старинной архитектуры, в особенности, в Ленинграде. Все в один голос признавали, что памятник знаменитого Фальконе — конная статуя Петру Великому на невиданном, уникальном гранитном блоке, представляющем собой как бы окаменевшую волну, не имеет равных себе во всем мире. Эта статуя, по общему признанию всех ученых, тогда принимавших участие в этих торжествах, по красоте, величию, великолепию — памятник номер один.

В.Д.: Это очень интересно.

П.Р.: Да. И это итальянцы, у которых очень много... Мне самому приходилось в детстве жить в Италии и потом сравнительно недавно, четыре года тому назад, быть в Италии. И меня поразило, что помимо древних памятников, скажем, статуй цезарей, конных и пеших статуй цезарей, которые, конечно, неповторимы и несравнимы ни с чем, остальные, более современные памятники, конечно, так же самобытны и так же удивительны, но ни одного нет такого красивого, как памятник "Petro primo Catharina secunda".



Памятник Петру I работы Фальконе в Санкт-Петербурге. Источник фото: www.nat-geo.ru

В.Д.: Воспользуюсь вашей паузой. Вы все время говорите об ученых, о больших ученых естественных наук, а кто-нибудь из гуманитариев тогда приезжал, не помните?

П.Р.: По-моему, нет. Может быть, приезжал, но я с ними никаких дел не имел, так что я не могу ничего об этом рассказать.

В.Д.: Вы с ними не водились.

П.Р.: Вот именно. Я еще могу вспомнить итальянского физика Покеттино, работы которого я оценил только в дальнейшем, когда сам стал заниматься реологией, механикой дисперсных структур и деформированных тел, промежуточных между жидкостями и твердыми телами. Именно в этой области Покеттино был одним из первых, разработавших точные приборы для измерения.

Встречи с нобелевскими лауреатами

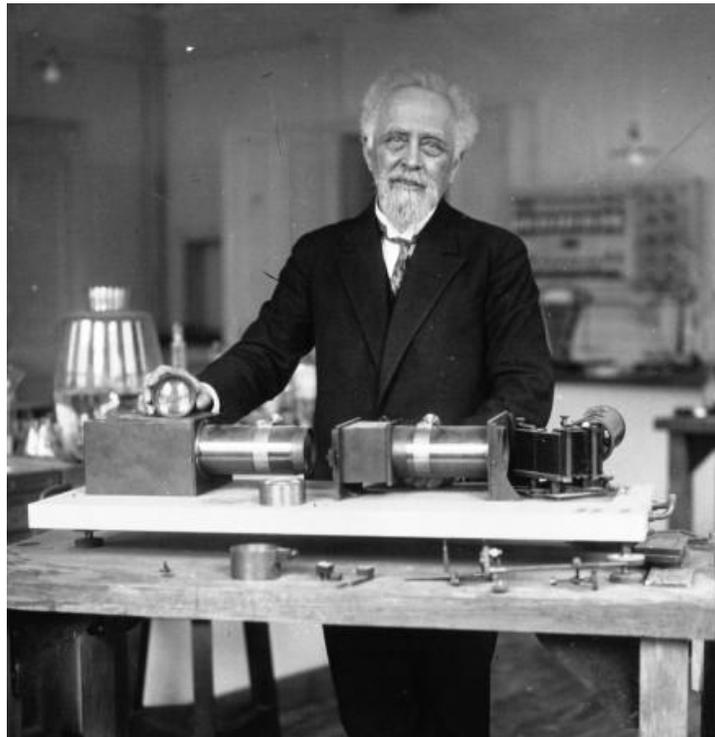
Затем особенно интересно рассказать о визитах в нашу страну трех лауреатов Нобелевской премии, величайших физиков и физикохимиков современности. Со всеми тремя мне пришлось лично познакомиться, когда я уже был членом-корреспондентом Академии наук СССР и мне удавалось говорить с ними, дискутировать по вопросам близкой мне научной области. Это прежде всего знаменитый французский физик, истинный друг Советского Союза и во время оккупации Франции фашистскими немецкими войсками помогавший движению Сопротивления, — Jean Perrin, по-русски Перрен, первый, кто дал экспериментальную точную, строго физическую проверку законов Броуновского движения, открытых Эйнштейном и Смолуховским в их замечательной статистической теории броуновского

движения как отражения теплового универсального движения молекул. Перрен приезжал к нам в 35-м году. Он выступал в Большой аудитории физического факультета Московского университета на Моховой с прекрасной лекцией об определении толщин тонких пленок в мыльных пузырях оптическим методом при помощи наблюдения интерференционных цветов.

” Все знают, как переливаются всеми цветами радуги пузыри, выдутые из мыльной воды, но мало кто знает, что этими переливами многоцветными можно воспользоваться для измерения их толщины.

Вот это и было сделано Перреном. Он показал со своей сотрудницей, американкой Вонс, что один слой, состоящий из двух ориентируемых молекул жирной кислотой, входящей в состав мыла, соскальзывает на другой, этот — на следующий и так далее — такими этажами. Один этаж скользит по другому этажу. Вот это блестяще излагал Перрен, доказывая своими прекрасными опытами и расчетами. У меня в качестве неоценимого уникального сувенира остается подарок — снимок с его автографами, красочный отпечаток его пленок мыльных пузырей с разными цветами интерференционными, то есть разной толщины.

Перрен — красивый мужчина с длинными вьющимися белыми волосами, с белой бородкой, замечательный по своей жизненной активности. Пышущий здоровьем старик — вот я так бы его определил. Перрен отличался свойственным французам необычайным дружелюбием. Это дружелюбие — характерная черта французов, и в особенности творческих (французских писателей, художников, ученых) — в полной мере характеризовало Перрена.



Жан Батист Перрен в Институте Кюри. Париж, 1927. Источник фото: www.wikimedia.org

Его сын, Франсис Перрен, ставший во главе французской Комиссии по атомной энергии после смерти Жолио-Кюри, тоже бывал у нас. Но надо прямо сказать, что сын был гораздо менее интересным ученым, чем отец. Можно сказать, здесь, как и в других случаях, природа, по-видимому, отдыхала на потомках.

Вторым нобелевским лауреатом был Теодор Сведберг, знаменитый шведский физикохимик из Упсалы. Теодор Сведберг или, как сокращено он писался во всех статьях, Те Сведберг (The) знаменит прежде всего своими исследованиями броуновского движения, проверкой законов статистики флуктуаций в коллоидных системах, за что одновременно с Перреном получил Нобелевскую премию. Вместе с тем он знаменит своими исследованиями ультрацентрифуги.

” Интересно заметить, что первый, применивший центрифугу для исследований в области коллоидной химии, для определения размера самых маленьких фазовых частиц, был наш соотечественник Антон Владимирович Думанский.

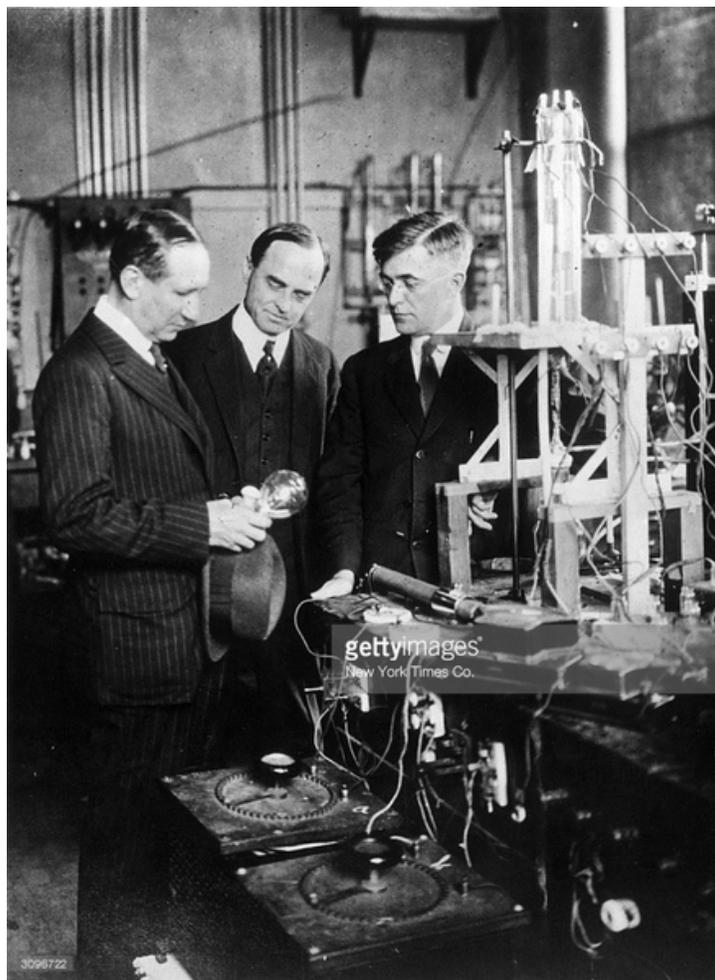
Он тогда в Киеве был доцентом, преподававшим коллоидную химию в Политехническом институте. В дальнейшем Думанский стал профессором и академиком Украинской Академии наук, членом-корреспондентом Всесоюзной Академии, заслуженно считался главою советской коллоидной химии. Он умер сравнительно недавно, пять лет тому назад, в Киеве, будучи бессменным директором первого Института коллоидной химии, который был им же создан еще в Воронеже, где он занимал кафедру физической и коллоидной химии в Воронежском сельскохозяйственном институте, в строительстве которого он участвовал в качестве одного из авторов архитектурного проекта. Это был целый городок, к сожалению, начисто разрушенный во время войны немецкими бомбардировками, в связи с чем это насиженное место вынужден был бросить профессор Думанский и переехать обратно на родину, в Киев. На родину, в смысле научную родину, где он начинал свои научные исследования.

Те Сведберг, упоминая Думанского как первооткрывателя в этой области — применения центрифуги, построил невиданную доселе по техническим возможностям ультрацентрифугу: прибор, который помещался в специальном стальном и бетонном здании для защиты от возможных разрывов и катастроф и который позволял осуществлять перегрузки в центробежном поле, в сто тысяч раз превышавшие ускорение силы тяжести. В этих центрифугах Сведберг получил возможность разделять, заставлять оседать, расслаиваться даже истинные растворы высокомолекулярных соединений, все коллоидные растворы, например, золи золота, и таким образом он получал возможность определять абсолютные массы частиц или макромолекул.

Те Сведберг приезжал к нам и в промежуток между Первой и Второй мировой войной, и затем приезжал, как и множество других знаменитых ученых, на второй юбилей Академии наук СССР, который происходил в 45-м году, сразу после победы. Почти одновременно с празднованием Победы над фашистской Германией происходило празднование 220-летия Академии наук, смещенное на один год по сравнению с тем юбилеем. Дело в том, что дата основания Академии наук не совсем точно была установлена. Как известно, Академия наук начала работать только после смерти Петра Великого, скончавшегося в 1725 году, но все работы по подготовке и организации Академии были задуманы и проведены им еще при его жизни. К 220-летию Академии наук все члены Академии, к тому времени работавшие, были награждены разными орденами Советского Союза, получили те или иные награды за свою научную деятельность во славу советской науки. И празднование этого юбилей было, конечно, в соответствии с развитием страны и в соответствии с той радостью, которая охватила всех, не только советских людей, но и всех здравомыслящих людей во всем мире в связи с победой над фашизмом. Это празднование 220-летия было поистине помпезным, чрезвычайно торжественным.

Тут было очень много знаменитых гостей. Особенно я хотел бы отметить одного из них, и ранее к нам приезжавшего. Это третий из тех, кого я хочу сейчас вспомнить, лауреат Нобелевской премии, знаменитый американский физик Ирвинг Ленгмюр. Ирвинг Ленгмюр был директором исследовательской лаборатории в Скенектади «General Electric Company» — самого крупного концерна, связанного с продукцией электронной и, вообще, электрической аппаратуры. С давних времен эта слава главного промышленного центра остается за ним. Исследования в этом центре были всегда на выдающемся уровне именно со времен Ленгмюра. Первые работы Ленгмюра относятся к катодным лампам в связи

с его исследованием ламп накаливания, к электронной эмиссии разогретыми металлами в вакууме. Его замечательные работы, классические мемуары 16-го и 17-го годов, опубликованные в «Journal of the American Chemical Society», заложили основу современной теории поверхностных явлений, поверхностных слоев на границах соприкасающихся тел. Это прежде всего мономолекулярные слои, исследование которых в нашей стране было продолжено в замечательных работах академика Александра Наумовича Фрумкина и его школы, главным образом, применительно к электрохимии.



Ирвинг Ленгмюр (справа) в лаборатории General Electric. Скенектади (США), 1922. Источник фото: www.gettyimages.com

Вот этот Ленгмюр, о котором я говорил, приезжал к нам в 34-м — 35-м году и выступал в Московском университете, а затем вторично в 1945 году, летом. И тогда я имел удовольствие много с ним говорить и видеть его в нашем Институте физической химии, который он с интересом осматривал. Он знакомился с замечательными работами члена-корреспондента Академии наук СССР Бориса Владимировича Дерягина, работавшего рядом со мной, заведовавшего другим отделом в этом же институте. Знакомился он и с нашими работами и с большим вниманием и интересом выслушивал своих младших товарищей по науке. К сожалению, Ленгмюр умер тоже очень рано. Надо сказать, что он был одним из самых великих физиков, работавших в области, тесно граничащей с физической химией или даже попросту с химией поверхностных явлений. Известно, что он и его многолетняя сотрудница Блуджетт (о чем он сам рассказывал подробно у нас в Москве) сделали тогда блестящую работу по нанесению подряд одного, двух, трех и больше монослоев на поверхность стекла: аквариумные стеклянные пластинки, погружавшиеся, скажем, в раствор поверхностно-активного вещества.

В.Д.: Монослой — это один ряд молекул?

П.Р.: Да-да, один слой, монослой, ориентированный обычно. Полярные группы ориентировались к стеклу, а углеродные цепи торчали наружу. Вот на таком слое самопроизвольно, сам по себе, автоматически, наращивался второй слой, обратной ориентации: углеводород нацепляли к углеводородным цепям первого слоя и полярные группы наружу. На него наращивался третий слой, при третьем окутании, и так далее. Вот эти замечательные опыты Ленгмюра были объединены с тонкими измерениями толщины этих слоев. Было показано, что эти слои наращиваются как бы квантами, то есть, действительно, не может быть полтора слоя или два с половиной слоя, что было важно очень и для нашей материалистической философии, так как свидетельствовало о реальности зернистого строения вещества, то есть о реальности молекул. Так же как и работы Перрена, о которых я раньше говорил.

Коллекция автографов

Я всегда был коллекционером. Я коллекционировал все, что представляло для меня интерес. Это значит, что я был не настоящим коллекционером, потому что настоящий коллекционер собирает что-нибудь определенное. Я собирал все, что могло меня интересовать, в частности, я был, конечно, горячим, жадным собирателем автографов. И вот во время посещения институтов, особенно в то время, когда я уже руководил крупным отделом в Институте физической химии при Академии наук, одним из организатором которого я был, он был организован в связи с переездом Академии наук в Москву в 34-м — 35-м годах... Я был избран в Академию в 33-м году...

В.Д.: Членом-корреспондентом?

П.Р.: Членом-корреспондентом, конечно. А академиком — в 46-м году. Тогда уже я, естественно, когда прибывали к нам знаменитые гости, мог пускать среди них лист бумаги с просьбой расписаться на этом листе в качестве посетителя. Это гораздо выгоднее, чем давать им записываться в Золотую книгу посетителей, потому что такие Золотые книги бывают в одном экземпляре. Естественно, мне бы не удалось сохранить эту книгу для себя. А тут этот лист, который я пускал, был, так сказать, листом безответственным, и у меня такой лист сохранился. На этом листе подписи тех, кто был на торжествах 220-летия Академии наук. Тут и Ирена Жолио-Кюри, и Фредерик Жолио-Кюри, и Сведберг, о котором я уже говорил, и Макс Планк, незадолго до своей смерти он был, это последнее путешествие его, последний выезд за границу. Тут и Бодлэндер, знаменитый немецкий физикохимик, и Ленгмюр, о котором я говорил, известные английские физики Андраде и Адам, и многие-многие другие ученые. Среди них, например, Макс Борн, знаменитый немецкий кристаллофизик. Эйнштейн не был у нас.

В.Д.: А Нильс Бор не был?

П.Р.: Нильс Бор был в дальнейшем. Во время юбилея Академии он не был. В дальнейшем он приезжал несколько раз в Советский Союз*. По странному стечению обстоятельств, мне не пришлось с ним познакомиться.

* Нильс Бор приезжал в Советский Союз в 1934, 1937 и 1961 годах.



Пётр Леонидович Капица с супругой и Нильс Бор с семьей в Институте физических проблем. Москва, 1937. Источник фото: www.kapitza.ras.ru

Коллоквиумы Мандельштама и Капицы

Очень хотелось бы отметить, возвращаясь теперь к соотечественникам, что большое значение для воспитания молодежи, пожалуй, большее, чем лекции или доклады знаменитых ученых, имело участие в коллоквиумах, которые проводились под руководством великих деятелей науки. Таких коллоквиумов на моей памяти было очень много. Особенно замечательны коллоквиумы теоретиков. Незабвенной памяти Леонид Исаакович Мандельштам, обаятельный физик, замечательный теоретик, проводил научный коллоквиум на физическом факультете Московского университета на Моховой, где в маленькой аудитории собирались все горячо любившие разные области применения теоретической физики.

В.Д.: Это какой же год?

П.Р.: Это было в 20-е годы, примерно в 25-е, 26-е и 27-е годы. Мне прекрасно помнится, как Мандельштам привлекал особенно молодых ученых, интересовавших его всегда какими-то новаторскими идеями и разработками, иногда даже далеко не совершенными. Всех их он привлекал к участию в этом коллоквиуме, предлагая им рассказать о своей работе. Они рассказывали. Этот рассказ сопровождался дружелюбной дискуссией, которая проводилась всегда в очень ласковых, очень дружеских тонах, но в то же время помогала исправить или дополнить то, что не было достаточно хорошо сделано самими докладчиками. Я имел удовольствие два раза выступать на этих коллоквиумах.

В дальнейшем, уже после организации Института физических проблем, знаменитого института Капицы, который целиком, со всем оборудованием, включая водопроводные краны и раковины, был перевезен от Резерфорда из Кембриджа, по специальному разрешению английского правительства и, конечно, данного только благодаря Резерфорду. Так вот, как только был организован этот Институт физических проблем в Москве Капицей (тогда членом-корреспондентом Академии наук СССР), Капица, как директор этого института, выдающийся физик-экспериментатор нашего времени, только что обосновавшийся на родной земле, устроил у себя такой же коллоквиум. И на нем все мы, молодые физики разных специальностей, разных направлений, в особенности те, кто работал в прикладных областях: и Дерягин, и я, и многие-многие другие — с большим удовлетворением выступали и получали для себя очень много

полезного для развития своих работ.



Пётр Леонидович Капица (второй слева), Поль Ланжевен (в центре) и Эрнест Резерфорд (второй справа). Кембридж, 1921. Источник фото: www.kapitza.ras.ru

Очень приятно вспомнить, что тогда личным секретарем Капицы был молодой начинающий журналист Олег Писаржевский. В дальнейшем он бурно вырос, стал самобытным, талантливым писателем, написавшим очень много передовых, чрезвычайно прогрессивных статей и книг об истории русской науки и, в особенности, новой истории: о развитии науки уже в советское или предсоветское время. Он не убоился и проникновения в такие сложные, трудные области, как дискуссия по биологии. Всеми этими вопросами он много и активно занимался, но больше всего его привлекали, в соответствии с его работой в Институте физических проблем, вопросы физики и, вообще, физико-химических наук. Он очень помогал Петру Леонидовичу Капице в организации его выступлений, в подготовке посещений института, визитов академика Капицы в другие институты. Ну, и в дальнейшем играл ведущую роль в Союзе писателей.

В.Д.: Ну, такой ведущей роли особенной он не играл.

П.Р.: Нет, я о научно-популярной говорю.

В.Д.: В этом смысле, да.

П.Р.: Теперь надо нам из этого всего, из этой лавины вылезти, как я вас понимаю. Вообще, я не могу удержаться, чтобы еще раз не сказать вам, хотя я понимаю, что это вас обижает, что...

В.Д.: Вы не верите, что это сохранится?

П.Р.: Нет. Что я не понимаю, для чего это нужно. Понимаете? Совершенно непонятно. Жизнь наша коротка, и силы наши до такой степени все-таки быстро сдают...

В.Д.: Именно поэтому...

П.Р.: ...что гораздо более продуктивно... Я хочу объяснить: гораздо более продуктивно все иметь в виде живописного манускрипта. Тут другое. Я вас понимаю, что далеко не всё, к сожалению, по обстоятельствам, от нас не зависящим и, кстати, всегда очень печальным, удастся опубликовать.

Причем, у нас это продолжается, как вы знаете, чрезвычайно долгое время, и стало, по разным обстоятельствам, как бы...

В.Д.: Хронической болезнью.

П.Р.: Да, хронической болезнью России. Это было в старое время и это продолжается в наше время. Мне это абсолютно непонятно. И ни одному сознательному советскому человеку это непонятно. Я человек глубоко советский и разделяю все принципиальные взгляды нашей партии, хотя я остаюсь беспартийным. Но вот видите ли, все-таки во время войны я получил орден Отечественной войны I степени за участие в научной работе в помощь фронту, но мне всегда бывает непонятно, почему вот такие вещи мы не можем полностью опубликовать. С этой стороны, конечно, интересно, может быть, хранить это в магнитофонной записи. Но еще проще было бы хранить это в архивах в виде документации, то есть в виде манускрипта.

В.Д.: Так вот с этого можно делать манускрипт. Я с вас с таким трудом вырвал разговор, а сколько времени нужно, чтобы вы записали это сами?

П.Р.: С этого дела надо иметь манускрипт, который был бы отредактирован самим автором. Никто другой, кроме меня... Я никому не могу доверить редактирование моей речи, как бы нелепа она не была. Все равно, я уверен, что я лучше всех могу сам написать, если я продумаю то, что, может быть, несколько необдуманно говорю. Написать это я могу гораздо более обдуманно, так что это все имеет смысл не для того, чтобы это хранить, а для того, чтобы потом дать это самим авторам отредактировать.

В.Д.: Совершенно верно.

П.Р.: Причем то, что можно из этого опубликовать, то надо опубликовать, а то, что нельзя, к сожалению, по нелепому обстоятельству, опубликовать, то оставить до тех пор, пока это будет можно опубликовать.

В.Д.: Совершенно верно. У нас нет никакого спора. Спор только чисто технический: если вы, даст Бог, еще поживете десяток-другой лет, а Иван Георгиевич обещанных помощников мне даст, то я все то, что у меня есть, переведу в рукопись. Я перевожу, но, конечно, я отстаю от этого все больше и больше. У меня переведена в рукопись небольшая часть.

П.Р.: Это все записывается?

В.Д.: Записывается. Ну, ничего.

(Пауза в записи)

Почему же вы считаете, что право на чудачество, вернее, привилегии на чудачество больше всего у математиков?

П.Р.: Конечно. Это известно. Это тривиально. Математика — самая отвлеченная наука.

В.Д.: И самая прикладная.

П.Р.: Но все-таки она отвлеченная по существу, как таковая. Недаром говорят: «чистая математика». Никто не скажет: «Чистая химия». Хотя...

В.Д.: Говорят, говорят: «чистая теоретическая физика», «чистая физика», «этот — техник, а он — чистый физик...»

П.Р.: Да. Так кто же еще у вас был?

В.Д.: Математиков больше всего. Я надеюсь и Ивана Георгиевича записать. Может быть, вы меня сосватали бы с Капицей?

П.Р.: Я думаю, что это будет трудно.

В.Д.: Трудно? Не пойдет?

П.Р.: Нет.

В.Д.: А он к тому же, вообще, и коллекционер, и по гуманитарии там всякие вещи собирает. Говорят, у него целая картинная галерея дома.

П.Р.: Этого я не знаю. Это у всех картины, все любят искусство.

О литературных знакомствах и вкусах

В.Д.: Вот вы бы добавили к тому, что говорили, ваши пересечения с искусством и с литературой. В частности, кого вы встречали из деятелей? Вы Веру Инбер упомянули.

П.Р.: Кого?

В.Д.: Веру Инбер, по-моему, вы упомянули, какое-то знакомство.

П.Р.: Это записывается?

В.Д.: Иногда записывается, иногда выключается. Это мое хозяйство. Вас оно не касается. Когда вы непринужденно говорите, у вас лучше всего получается.

П.Р.: Нет, о Вере Инбер я не могу ничего рассказать без предварительного обдумывания, потому что надо вспомнить. Я с ней встречался очень много раз.

В.Д.: Много?

П.Р.: Да. И первый раз тогда, когда она была женою Александра Наумовича Фрумкина, академика Фрумкина.

В.Д.: А кого из литераторов больших, артистов знали? Вот вы только цитировали, так сказать, экспромтом...

П.Р.: Я много кого знал. Алексея Николаевича Толстого знал лично очень хорошо. Он был нашим академиком. Мы всегда с ним встречались на сессиях, на общих собраниях Академии.

В.Д.: Он большой барин был, да?

П.Р.: Да. Он был такой человек парадоксальный.

В.Д.: Парадоксальный?

П.Р.: Да, парадоксальный. С одной стороны, был человеком очень, так сказать, изысканным, очень нежным и тонким в своих рассказах... Я, вообще, считаю его самым крупным русским писателем XX века. Самым крупным. Безоговорочно! «Хмурое утро»... вообще трилогия «Хождение по мукам» — это гениальная вещь. Совершенно гениальная! А вы что, не согласны?

В.Д.: Я не согласен с этим.

П.Р.: «Хождение по мукам» — это блестящая вещь! А рассказы его — «Хромой барин», «Лунная сырость», «Детство Никиты»...

В.Д.: Вот «Детство Никиты», да.

П.Р.: Это совершенно на уровне «Детства» и «Отрочества» Льва Толстого.

В.Д.: Вот именно!

П.Р.: А «Ибикус»? Все рассказы из области, я бы сказал, первой эры эмигрантства, гражданской войны. «Детство Никиты» — потрясающая!

В.Д.: «Детство Никиты», да, но очень уж напоминает Толстого.

П.Р.: Нет, ну что вы, как это можно?! Совершенно разные вещи.

В.Д.: Ну, а в чем же парадоксальность?

П.Р.: С другой стороны, он был страшным нахалом и хамом. Ужасно!

В.Д.: То есть с одной стороны, изысканность, с другой — хамоватость?

П.Р.: Да. Хамоватость, я бы сказал, не свойственная аристократу русскому, скорее напоминающая богатого купца, нувориша такого, что ему совершенно не свойственно: он был образованным человеком, он был инженером. Правда, государственные денежки плакали — инженером он, видимо, не был. Но все-таки... Потом, он, действительно, был человеком из очень хорошей, интеллигентной дворянской среды. Вместе с тем поведение его представляло страшное злоупотребление всеми видами спиртных напитков.

В.Д.: Много пил, да?

П.Р.: Да, конечно. Непрерывно. И при этом страшное хамство в разговорах, без желания сделать неприятное, просто так, от разгула.

В.Д.: В смысле полной невоздержанности языка или все-таки какой-то...

П.Р.: Циничности, я бы сказал. Циничность в высказываниях, которая всегда останавливает и изумляет.

В.Д.: Ну, вообще, насчет аристократа... Тут ведь дело под сомнением: аристократ он или не аристократ. Вы, наверное, это знаете?

П.Р.: Да.

В.Д.: Так что насчет генов... Но что вырос он...

П.Р.: Ну, ведь гены же здесь не играют такой роли решающей. Хамство...

В.Д.: Да. А потом аристократы русские всякие бывали.

П.Р.: Конечно, конечно.

В.Д.: А вы с ним и в домашней обстановке встречались?

П.Р.: Нет-нет. Я хорошо в домашней обстановке знаю Никиту Алексеевича — «Детство Никиты». Он мой младший, так сказать, коллега. Он тоже физик, очень активный, много работавший в близкой мне области.

В.Д.: Он жив еще?

П.Р.: Да, конечно. Ему сейчас, по моим расчетам, лет пятьдесят, может быть, пятьдесят пять. Он родился, наверное, в 1910 году.

В.Д.: Примерно мой сверстник, значит, лет уже шестьдесят, а не пятьдесят. Ну, так и должно быть по дате написания «Детства Никиты».

П.Р.: Потом кого же я еще знал? Леонида Леонова, которого вы не любите.

В.Д.: Да, я не люблю его как писателя. Мне кажется, что он искусственный, такой стилизованный писатель. Но это, конечно, все останется...

П.Р.: Михалкова. Тоже нахал страшный, кстати сказать.

В.Д.: Тоже нахал?

П.Р.: Ужасный.

В.Д.: Вот в чем его нахальство проявлялось?

П.Р.: Просто даже в постоянной манере обращения и в том, что он со всеми людьми, не говоря уже о малых сих, держится свысока, никого не принимает, если кому-нибудь нужно к нему обратиться. Я-то на себе лично этого не испытывал.

В.Д.: Михалков, между прочим, действительно, настоящий аристократ, 600-летнее дворянство. Вот село Михалково под Москвой было. Это бояре Михалковы, они есть в Брокгаузе и Ефроне. Даже о них специальная есть статья.

П.Р.: Ну, в Брокгаузе и Ефроне есть Ребиндеры.

В.Д.: Тоже есть?

П.Р.: А как же?

В.Д.: Это надо будет прочитать. Михалковыми я как-то поинтересовался, а Ребиндеры — не приходилось.

П.Р.: Ну, вот Голицыны, Трубецкие и, вот, шведские...

В.Д.: Да, это вы рассказали очень интересно. Как раз мне очень понравилась часть про предков.

П.Р.: Но это все, конечно, не имеет никакого...

В.Д.: Нет, почему? Из этого складывается повседневный культурный слой.

П.Р.: Кого же я еще хорошо знал? Ну, из гуманитариев знал Варгу.

В.Д.: Он еще жив?

П.Р.: Нет, он умер. Он всегда говорил с таким венгерским акцентом, можно сказать, с еврейским акцентом. С таким польско-еврейско-венгерским акцентом. Он говорил всегда так Вавилону: «Сергей Ивано-о-о-вич, по городу ходят шлюх-и-и-и». Значит, «слухи» (*смеются*).

В.Д.: Вот это ни в какой манускрипт не втиснешь. Он политэконом был в основном?

П.Р.: Да. Вот сейчас скандал был с его какими-то вымышленными мемуарными записями.

В.Д.: Опубликованы там, в Венгрии, да?

П.Р.: Нет, не в Венгрии, конечно, напечатано, а где-то за границей. Какие-то эмигранты опубликовали явно не его мемуары. Что там такое, я не знаю, но во всяком случае, что-то антисоветское. Это никакого отношения к нему не имело. Он был благороднейшим человеком и, конечно, ничего бы против нашей страны не написал.

Кого же еще я знал? Я несколько раз встречался с Климентом Ефремовичем Ворошиловым, который неизменно производил на меня совершенно чарующее впечатление очень очаровательного человека. Кстати, необычайно тонкого человека. Вот слесарь, луганский слесарь. Необычайно тонкое впечатление производил. Человека именно рафинированного, обаятельного...

В.Д.: А он разве как-нибудь соприкасался с Академией наук? Или просто, так сказать, по дачному соседству?

П.Р.: Нет. В связи с награждениями. Он мне два раза вручал ордена, и мы с ним довольно подолгу беседовали.

В.Д.: Уж раз вы рассказали о том, какой вы знатный барон...

П.Р.: Даже граф скорее.

В.Д.: Даже граф.

П.Р.: Но я никогда, слава Богу, никакого титула не имел, ни я, ни мой отец, потому что мы происходили от младшей линии Ребиндеров. А там был у нас майорат, как у всех настоящих родов заграничных. В Швеции был майорат: графы — старшая линия, следующая — бароны, потом шли просто рыцари. Вот я от этих рыцарей происхожу. У графа Ребиндера, вице-короля Эстландии, было двенадцать сыновей, из которых один перешел на службу к Алексею Михайловичу.

В.Д.: Да-да. Это вы как раз рассказали. Я вас расспрашивал о тех, кого вы лично знали, но меня интересуют ваши литературные вкусы.

П.Р.: Вкусы я вам сказал.

В.Д.: Вы считаете самым большим писателем Алексея Толстого.

П.Р.: Алексея Толстого я считаю самым большим писателем. Я восхищаюсь «Тихим Доном» Шолохова, но, к сожалению, это у него единственная вещь, которую я считаю, конечно, первоклассной. Вообще, я восхищаюсь Булгаковым, очень многими вещами. «Мастер и Маргарита» — потрясающая вещь.

В.Д.: Потрясающая.

П.Р.: Правда?! Потрясающая. Я считаю, первоклассная вещь совершенно. Но это же все-таки какая-то не очень законченная вещь, какие-то такие эссе все, разбитые на кусочки, с некоторыми вывертами, понимаете, но, конечно, гениальные. Гениально написаны многие вещи Зощенко, я считаю.

В.Д.: А вот я Каверина записал о Зощенко очень интересно.

П.Р.: Гениальные вещи Зощенко. А вот поэты наши мне абсолютно не нравятся. Мне страшно не нравится Пастернак. Страшно не нравится. Больше всех поэтов мне нравится Маяковский, пожалуй. Именно своим словотворчеством, своим замечательным новаторством.

Анна Ахматова мне кажется замечательной только своими ранними стихами, и то все это тоже очень обрывочно. И если антологию создавать, то оттуда можно взять только очень мало, так же как, кстати, и из Блока. Я не знаю, почему так Блоком восторгаются. У него отдельные вещи — гениальные, конечно, но именно отдельные. Совсем не то, что у Пушкина или у Лермонтова, где, наоборот, 90% гениального. Правда? Я даже говорю не о степени гениальности, а просто...

В.Д.: А об общем уровне, не отдельных шедевров.

П.Р.: Да. А здесь отдельные взяты на общем очень таком скромном фоне. У Блока есть очень, ну, просто малоталантливые вещи. Возьмите даже «Двенадцать». Ничего не вижу я замечательного во многих частях этих «Двенадцати». Кроме того, все это со страшными болезненными вывертами, ухищрениями, всякими закрутками, понимаете? Мне это совершенно чуждо. Я не выношу вот этого Кафку. Я считаю, это вообще возмутительно.

В.Д.: Кафку не выносите?

П.Р.: Не выношу.

В.Д.: То есть всяческого экспрессионизма западного?

П.Р.: Этого я не выношу совершенно. А вот реалистическая литература... Достоевского терпеть не могу. А вот Пушкина прозу... Это, конечно, гений. Некрасова я очень люблю. Стихи Некрасова замечательные. Какая простота, какая чистота, какая убежденность — все это замечательно. Очень люблю французскую литературу. Очень люблю Мопассана, Пруста.

В.Д.: Флобера.

П.Р.: Флобера, конечно, но Флобер — это учитель Мопассана. «Мадам Бовари» — бессмертная, конечно, вещь. «Саламбо». Ну, французская литература — я на ней воспитан. Я ее всю читал в подлиннике. Ну, что еще, кроме Мопассана? Там масса хорошего есть. И даже таких второстепенных много чудесных

вещей, из второстепенных авторов. Ну, Анатолий Франс, конечно, «Остров пингвинов». Вообще такие сатирические вещи.

В.Д.: Вот отсюда немножко к Булгакову.

П.Р.: Да, пожалуй, правильно. Булгаков гениален, конечно.

В.Д.: Вот у вас тут немножко трудно сочетаемые вещи: Булгаков и Алексей Николаевич.

П.Р.: Ну, почему. Напомню вам гениальный рассказ Алексея Толстого, который я просто не могу никогда читать без слез умиления, — «Лунная сырость». Помните этот рассказ?

В.Д.: Смутно помню. Нет.

П.Р.: Как Калиостро приехал к нам в век Екатерины II, и по дороге у него сломалась ось у кареты. Он остановился в богатом помещичьем доме, где жила тетка престарелая со своим молодым племянником, только что, как бы сказать, демобилизовавшимся...

В.Д.: Вернувшимся с войны.

П.Р.: Нет, просто, а, может быть, и на войне был, ушедшим в отставку поручиком гвардии. Вот он, значит, там проживает с этой теткой. Романтический молодой человек, с блестящим знанием языков, массой литературных и художественных интересов, конечно, ничего больше. Вот он гуляет по парку, и его вдохновляет старинный портрет, который он нашел там. Портрет какой-то дальней их родственницы, где она изображена с розой в руках, в платье, сильно декольтированном. И у него страшно сексуальная тяга к этому портрету. В это время приезжает Калиостро. И узнав, что это великий колдун и маг, он его умоляет этот портрет оживить.

В.Д.: Помню.

П.Р.: Помните?

В.Д.: Помню теперь.

П.Р.: Ах, какая вещь! Как хорошо! Вот он Булгаков!

В.Д.: Да, отсюда, конечно, кое-что вышло. Нет, но вы как раз называли «Хождение по мукам», да еще «Хмурое утро».

П.Р.: Послушайте, ведь это же великолепно. А какой фильм сделали по этому, красочный. В тысячу раз лучше, чем «Доктор Живаго», я вам скажу так.

В.Д.: А вы «Живаго» читали?

П.Р.: Нет, я не читал, но мне рассказывали подробно. И я не вижу никаких прелестей. Кстати, не могу понять, почему его у нас не издавали. Я считаю, что это совершенно непонятно, потому что ничем не меньше всяких объективно описанных инцидентов гражданской войны у Алексея Толстого, чем там.

В.Д.: «В тупике» Вересаева, вернее. Не помните?

П.Р.: Вересаева я помню, но Вересаева я не очень люблю. Вересаев это не писатель...

В.Д.: Ну, простите, вот меня интересует, раз уж я всю жизнь занимался Маяковским, а в Маяковском вы, очевидно, больше любите не раннего как раз?

П.Р.: Нет, и раннего тоже.

В.Д.: И раннего тоже? Потому что там тоже есть вот то, что вы называете экспрессионизм...

П.Р.: Поэма «Хорошо» гениальна. Нет, Маяковский с таким импрессионизмом, я бы сказал, замечателен

В.Д.: Там скорей экспрессионизм.

П.Р.: Ну, что ж, можно сказать, замечательный. Вот там у Маяковского из ранних вещей:

Игроческие очи в ночи

блистали, как два рубля.

Я разгружал его,

как настойчивый рабочий

разгружает трюм корабля.*

* У В. Маяковского: Игроческие очи из ночи / Блестели, как два рубля, / Я разгружал кого-то, как настойчивый рабочий / Разгружает трюм корабля. В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений, М., ГИХЛ, 1955, с.87.

Это про игру в карты. «Разгружал» — в смысле обыгрывал какого-то нэпмана (*усмехается*).

Это замечательно. Это ранний.

В.Д.: Нет.

П.Р.: Это 22-й год.

В.Д.: Я имею в виду дореволюционные вещи.

П.Р.: И дореволюционные — «Облако в штанах» замечательное.

В.Д.: Вы были слушателем Маяковского?

П.Р.: Был. В Политехническом музее два раза его слышал.

В.Д.: Два раза слышали? А что он читал?

П.Р.: Он читал «Облако в штанах», потом он читал «Хорошо».

В.Д.: Ах, уже «Хорошо» было написано?

П.Р.: Да. Это было в 28-м году, я его слышал.

В.Д.: Где? В МГУ?

П.Р.: Нет, в Политехническом музее. Потом в 28-м, нет, в 29-м году, вскоре после его возвращения из-за границы. Из последнего путешествия. Года я не помню.

В.Д.: Из последнего путешествия? Это в 29-м году.

П.Р.: Умер он в 30-м?

В.Д.: Да.

П.Р.: Ужасно нелепая смерть.

Некоторые стихи Есенина, конечно, замечательны.

В.Д.: Вы уже поколение не есенинское, более раннее, чем есенинское было, так сказать, поветрие.

П.Р.: Вот Бунин — и рассказы, и стихи... Он большой мастер, но не производит на меня никакого особенного впечатления.

В.Д.: Он очень холодный писатель.

П.Р.: Скорее Куприн, Леонид Андреев — вот хорошие вещи, тоже сильные.

В.Д.: Ну, слушайте, но Андреев — это как раз... Вы говорите, что безобразие — Кафка. Но Андреев — это беспомощная потуга сделать то, что Кафка сделал все-таки великолепно по-своему.

П.Р.: У Льва Толстого мне больше всего нравятся «Детство» и «Отрочество» и «Хаджи-Мурат». Ну, и конечно, две его несравнимых ни с чем комедии «Плоды просвещения» и «От ней все качества». Это гениальные комедии, которые идут в разрез со всем остальным его творчеством. Но Толстого Льва я терпеть не могу за то, что он был настоящий враг науки и технического прогресса. Враг заклятый и мракобес, типичный мракобес. Вот насколько он был прогрессивен в своем литературном творчестве, настолько он был мракобес, новоявленный Руссо.

Ну, извините, я буду собираться.